

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
Швырнул далеко книгу я.
Ужели мы с тобой
Такого века сыновья,
О друг — читатель мой?..

Н. А. НЕКРАСОВ.

Не любим мы Некрасова. Да, по-видимому, мы сейчас и должны его не любить. Некрасов — сразу наползает полдюжины фраз-формул: «Поэтом можешь ты не

быть...», «Сейте разумное, доброе, вечное...», «Вывесит все и широко, ясную грудью дорогу проложит себе...» Конечно, сама эта способность дать общенациональные афоризмы — признак великого поэта; в этом смысле Некрасов пока что последний наш великий поэт. И все равно: ныне даже они способны, наверное, только раздражать. Тем более что ныне для нас Некрасов, пожалуй, только такими остекленелыми формулами и исчерпывается. Потому и из них уже ничего не черпается. Как и из всего облика со всех сторон гладко обструганного поэта, «революционера-демократа».

Если бы мы только за это его не любили, то была бы не только беда, а — благо. Но, увы, кажется, мы, еще не отдавая себе страшного отчета, можем быть, интуитивно не любим его за то, что мы в нем не знаем и что узнать чуть ли уже и не способны. А все же мы обречены узнавать и разгадывать это. Потому что без этого мы будем обречены вообще. Недаром великий разгадчик русских душ Федор Достоевский писал о загадочности двух русских поэтов: казалась, такого ясного и открытого — Пушкина и такого декларативного и простого — Некрасова. Впрочем, не потому ли сам он, Федор Достоевский, приблизился и к разгадкам роли их в русской жизни — роли providческой и мессианской.

И Пушкина. И Некрасова: «Лично мы сходились мало и редко... было между нами несколько мгновений, в которые раз навсегда обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой застенчивой стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненое в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживающая рана его и была началом и источником всей страстной, страдающей поэзии его потом на всю жизнь».

Я призван был воспеть твои страдания, Терпением измученный народ!

Кажется, подходя к Некрасову, мы начинаем не с того конца. Дело не в том, что он писал о народных страданиях, пусть даже как угодно ярко и выразительно. Этого было много и до него. Поэт «не отражал» страдания народа. Он сам всем организмом нашей истории и жизни нашей рожден был как особый и в своем роде единственный орган страдания. Некрасов-поэт, так сказать, излил самое страдание: Некрасов — один и во всей русской литературе, пожалуй, во всем русском искусстве, а тем и в русской жизни, так пострадавший — за всех. Единственный, кто, по словам Бальмонта, постоянно напоминает нам, что вот пока мы все здесь дышим, есть люди, которые задыхаются. Но потому, что задыхался сам. В этом все дело. Как же нам, не помнящим этого и от этого отворачивающимся, любить его, напоминающего об этом и к этому поворачивающегося?

Лишь на первый взгляд может показаться странным, что Чехова часто, как бы определяя главное в нем, называют автором «Каштанки» — рассказа о какой-то дворянке.

Лишь на первый взгляд может показаться странным, что, пожалуй, «главную» свою картину страдания Некрасов написал о страдании лошади, избиваемой лошади-калечи: по спине, по бокам, по лопаткам, а наконец, и по глазам, «по плачущим, кроющим глазам».

Из-под страшного морoka этой, казалось бы, всего лишь уличной сцены долго не выпутаются русская литература и русская жизнь. Чуть ли не до того, нашего, времени, когда начнут уничтожать и самих лошадей, в какой-то околотецкой безумия переполняющая «планы по мясу», а развешаясь молодежь, воруя полубесхозных покатыться (об этом не раз писали), мучая, а затем бросая умирать загнанных.

Наваждение во сне Раскольников у Достоевского — это несколько страниц прозы, расцветившей, раскрасившей и, так сказать, расцарапавшей до крови несколько строк этого некрасовского стихотворения. Герой увидит себя во сне переживающим избиение («по глазам, по самым глазам») и убитую лошадь Миколкой и после этого уже не во сне, а только как во сне, пойдет сам убивать — человека. Из принципа, разъяснит ему следователь. «Этого же кто не видел. Это русизм», — скажет об этой же некрасовской сцене избиения («по глазам, по кроющим глазам») Достоевский устами Ивана Карамазова. А через много лет, снова доказывая, что это «русизм», такой чуткий к страданиям молодой Маяковский напишет «Хорошее отношение к лошадям».

Подожел И вижу глаза лошадиные... Подошел и вижу — за капицей капища по морде катится, прячется в шерсти...

И какая-то общая звериная тоска плеча вылилась из меня и разлилась в шестесте. И вдруг почти сразу, может быть, и поэтому же этаким Миколкой заводит в революционной одержимости: «Клячу историю загоним!» («Левый марш»). Из принципа? И — загоняли. И — забивали. Да, русская литература в самых больших своих проявлениях засвидетельствовала, какой силы ступок страдания заключила одна лишь уличная сцена Некрасова.

Почему же поэт, представив, может быть, самую страшную из своих картин страдания, может

самим себе уже несут обреченность. Недаром разгул политического национализма никак не сопровождается и никогда не сопровождается расцветом национальной культуры.

Сейчас страшна даже не физическая бедность сама по себе. Давно у нас выношено: «Бедность не порок». Но нищета, поясняет один из героев нашей классики, нищета — порок. А мы (страна, государство) уже ушли от трудовой бедности именно к пороку, к нищенскому вымогательству. Кстати, нищий далеко не всегда бедняк. Мы ведь вот тоже все заримся на чужие урожаи, оставляя, как сообщают,

ческую смуту, на время, по словам того же Некрасова, «государственных нерях», то тем более — «ничего не разберешь». К тому же если в пору «застоев» большинство просто прикрепляется к определенному месту, а в эпоху революций некоторые находят свое место, то именно в период смут многие почти всегда оказываются не на своих местах.

Слыл умником и в ус себе не дул. Поклонники в нем

видели мессию; Попал на министерский стул И — нагнул на всю Россию! В общем: Полно! Мы с тобой —

не датки, Нынче дарство подставных, Настоящие-то редки, Да и спроса нет на них. «Ничего не разберешь» — и потому, что смута есть время бесконечных перевоплощений, перевертываний, а точнее мимикрий и мистификаций. Это и ренегаты-партократы, оборачивающиеся ожесточенными демократами. И монументальные бюрократы, вдруг разворачивающиеся суетливыми, расхристанными охлократами. И демократы-ренегаты,

«Бывали хуже времена, но не было подлей»

За что у нас не любят Некрасова

быть, самую страстную свою человеческую жалость излил на лошадь, на животное?

«Это начало, — писал русский философ Владимир Соловьев, — имеет глубокий корень в нашей природе, именно в виде чувства жалости, общего человеку с другими живыми существами. Если чувство стыда выделяет человека из прочей природы и противопоставляет его другим животным, то чувство жалости, напротив, связывает его со всем миром живущих».

СЕЙЧАС этот глубокий корень в нашей природе если не прогнал, то поврежден. Мы встаем к миру все в то же двойное отношение, но уже обратное. Так, чувство жалости сейчас все меньше связывает нас со всем миром. Его отсутствие как раз и удалило нас от всего мира других живущих. Чувство же стыда, наоборот, ныне уже почти не выделяет человека из прочей природы. Его отсутствие, иначе говоря, бесстыдство как раз и опустило человека до прочей природы, до других животных. Естественно, что любовь к поэзии Некрасова с его чувством стыда и чувством жалости была бы сейчас состоянием самым неестественным.

Скажем, разнообразнейшие публичные виды сегодняшнего политического срама чуть ли не есть лишь другая сторона открытой лошади и наглядного бесстыдства физической жизни. Не вправе ли мы говорить, в частности, и об особом типе переживаемой нами сексуально-политической революции?

Кстати сказать, видимо, не случайно не осененной даже дуновением какой-то идеи и цели, кроме задачи хоть кое-как выжить и через очень длительный период, может быть, подтянуться к так называемым передовым (в сфере производства) странам или, как полагают экономисты, хотя бы собственного 1985 года.

Не потому ли смена символики, обычно столь насыщенной и героической в переломные эпохи, воспринимается сейчас так вяло и равнодушно. Между прочим, нынешний, довольно красивенький флаг России в качестве государственного имеет у нас гораздо меньший исторический стаж, чем красный. И если последний значим уже той кровью — и жертв, и защитников, — которую он впитал, то первый ныне не трогает ничем, и за ним в сущности мало что стоит. Хотя сейчас возвращение именно к этому, изначально-то коммерческому флагу не случайно. То же с гербом. Старый державный (и страшноватый) орел в новой редакции стал похож на плохо обчищенную курицу (правда, тоже двухголовую).

Все это знак того, что в числе многих вакуумов, дыр и прорек образовался, может быть, самый страшный — идеологический. Во всяком случае не видно идеологий, отчетливо выговоренных, формулированных и, главное, — объединяющих национально и не развешивающихся националистически: последние в

свой необузданным на миллионах гектарах. Бедность необязательно выморочна. Нищета неизменно сопровождается духовным одичанием. Не потому ли страна в сфере образования за короткий срок откатилась от места в первой тройке стран мира в пятый десяток. То же в медицине. Почему возможность для взрослого свободно (пусть и за бешеную цену) прочитать Николая Бердяева сопровождается невозможностью для детей свободно (не за бешеную цену) получить в руки хорошую детскую книгу, а теперь вот даже и учебники и тетради?

«Наш народ простой, смиренный, терпеливый народ, а тебе скажу, его можно грабить». (А. Остроумский «Горячее сердце»).

ДУМАЮ, что наше неприятие Некрасова может определяться не только его устарелостью, но и его злободневностью, иногда до жути. Скажем, поэма «Современники» — и о наших современниках. Подчас кажется, что только подставлял нынешние имена и сегодняшние факты. Не то поэт стремительно и неожиданно догнал будущее, не то мы столь же стремительно и внезапно оказались в прошлом. Как будто пробивая какие-то исторические этажи, кувырком пролетая вниз: вот уже и удельные князья преступают, а дальше с остановкой основных производств, очевидно, поползем в пещеру. Ну прямо какая-то безумная машина времени, да и только. Прогресс наоборот. Впрочем, полюбуйтесь: вот некоторые фрагменты и голоса некрасовской поэмы:

Кто не знает?

Пророки событий, Пророки новых путей, Провозвестники важных открытий — Побиваются грудой камней, Двинув раньше вперед спекуляцию, Чем прогресс узаконил ее, Потеряете вы репутацию И погубите дело свое. Подождите.

Прогресс подвигается, И движенья не видно конца. Что сегодня постыдным считается Устоится завтра венца. Вот это завтра наступило сегодня, и стало ясно, что ведь это сегодня всего лишь вчера.

Я заснул... Мне снились планы О походах на карманы Благодушных россиян, И, ошущая мой карман, Я проснулся... Шумно. В уши Словно бьют колокола. Гомерические кули, Миллионные дела. Баснословные оклады, Недовыручка, дележ, Рельсы, шпалы, банки, вклады, Ничего не разберешь.

Вот и мы так — проснулись. И «ничего не разберешь». А когда с экономической хаос в сочетании с финансовой неразберихой накладывается еще и на полити-

ты, быстро-быстро превращающиеся в непреклонных бюрократов. Неподдельны же герои времени и триумфаторы-плутократы. Они покрывают все и сводят к себе и дают собой или превращают в себя все и всех: и партократов, и бюрократов, и демократов. Особо отметил поэт «ренегатов из семьи профессоров»:

Под опалой в оны годы Находился демократ, Друг народа и Свободы. А теперь он — плутократ. Спекуляторские штудии Ловко двигает вперед При содействии науки Этот старый патриот... Или еще: Он машинным красноречьем Плутократы дивит; Никаким противоречьем Не смущаясь, говорит В интересах господина Заплоти да тему дай, Говорильная машина Загудит: поднимет лай, Будет плакать и смеяться. Цифры, факты извращать, На Бутовского ссылаться, Марксом тону задавать. Соответственно промываются мозги и вымываются сердца. Что же, ведь, по словам нашего поэта, «не у нас — во всей Европе прессы правит капитал».

Мы оправданы найдем! Нынче твердит и бородка: «Американский прием», «Великорусская сметка»

Грош у новейших господ Выше стыда и закона; Нынче тоскует лишь тот, Кто не украл миллиона.

Бредит Америкой Русь, К ней тяготея сердечью... Шуйско-Ивановский гусь, — Американец?.. Конечно!

Что ни пошло тащат, Наш идеал, — говорят, — Заатлантический брат. Бог его — тоже ведь доллар!..

Правда! Но разница в том: Бог его — доллар, добытый трудом, А не украденный доллар!

Станут ли неумелые создатели социализма умышленными строителями капитализма? Впечатление такое, что из жизни вместе с символами труда — серпом и молотом — вылетел и сам труд. А может ли вызвать у нашего зрителя что-нибудь, кроме тупого равнодушия или пока еще оцененного бешенства, неизвестно к кому обращенная реклама, по которой жизнь наша человеческая состоит из двух половин: делание денег и пребывание в удовольствиях. В очередной раз телега поставлена впереди лошади. И — поехали. Раз нет производства, то все силы брошены на растаплировку еще оставшегося, на бесконечное его распределение, перераспределение и многократно усилившееся овладение «привилегиями».

Горе! Горе! Хищник смелый Ворвался в толпу! Где же Руси неумелой Выдержать борьбу?.. Плутократ, как караульный,

Станет на часах, И пойдет грабеж огульный И — случится крррах!

И — пошел... И случился.

КОНЕЧНО, я позволил себе лишь самым поверхностным образом указать на внешние аналогии, прямые совпадения и т. п. У Некрасова же даже и «Современники» — это глубокая трагическая поэма о судьбе ограбленного народа и его страданиях. То есть о том, чем нам сейчас Некрасов и не интересен, и, так сказать, не люб. Как, пожалуй, чуждо нам сейчас и большинство народных писателей и поэтов. На авансцене ныне в основном демократическая литература. Особенно — публицистика. Я не стану, как это сейчас нередко принято, сопровождать слово демократия кавычками или ироническим курсивом: наряду с корыстным, демагогическим, прямо шутковом она родила немало умного, честного и дельного. Сложнее с народностью. Позвольте, но разве демократия и народ не одно и то же? Разве демократизм чужд народности? Здесь Некрасов тоже наводит на размышления. Именно Некрасов:

прежде всего свобода выбора. А ведь перед страной сейчас в силу многих исторических причин открывается, может быть, уникальная возможность выбора, а сбалансированной жизни: в одерживаясь, но не голодая, делясь, но не разоряясь, не угрожая, но защищаясь. Мы же, видимо, полагаем, что перестраиваться (простите, слово сейчас звучит как неприличность), разрешать противоречия нашей жизни можно только впадая в другие, причем более тяжкие.

Обнажилось и еще одно: агрессия вовне направленного национализма довольно быстро оканчивается внутринациональным распрямом. И вот в благородной рыцарственной Грузии грузин убивает грузина. Думаю, что до тех пор, пока Россия удерживается от первого, она может спастись и от второго и сохраниться как объединяющее начало. Тотальный централизм не более чудовищен, чем тотальная децентрализация. Всепоглощающее частное не менее страшно, чем всеуничтожающее общее. И здесь важен баланс.

Спасемся ли мы в этот решающий трагический час — зависит не только от солидарности на почве экономических интересов (дело, конечно, важное), правовых установлений (ныне, впрочем, уже почти не существующих из-за изобилия и взаимоотношенности), политических партнерств (самих по себе достаточно ничтожных, но и от них нигде не уйдешь).

Все решит другое: откроются ли источники нравственной жизни — подлинные, вековые, окончательные. То есть явятся ли они не как догмат, принцип и правило, а как последняя и сейчас единственная возможность человеческого выживания.

В одном, редчайшем по открытости письме обычно скрытый Некрасов написал Льву Толстому: «Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь (в широком смысле)? Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к существованию других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того, как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же. Жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — странного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сырости, обиды, обидной своей ненужности, и так круговая порука... Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние».

Здесь очень личный исток знаменитой народности Некрасова. Кажется, Достоевский единственный ощутил этот истинный исток скорбного народного начала его поэзии, когда сказал, что скорбь Некрасова о народе была лишь исходом его скорби по себе самому. Но и больше. Кажется, мы, так намаившиеся под гнетом давившего личного общего, кинулись сейчас в такое утверждение индивидуального и частного, которое оказалось новым неподъемным гнетом.

Народ и жизнь его несет в себе массу, как теперь говорят, моделей, свойств и возможностей. Некрасов нашел ту, которая утверждает человека в другом человеке, личное в коллективном, разрешает частное в общем. И пусть, так сказать, в идеале доказал это, ибо истинное искусство и есть, может быть, самое абсолютное доказательство самых разнообразных истин. Вот почему для Некрасова слова: «Цель и смысл жизни — любовь» — не фраза.

Еще Владимир Соловьев: «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение». И так, как сказал поэт, «круговая порука». Вот почему Некрасов во многих своих произведениях является в своем роде единственным у нас поэтом действительной любви, если угодно, в данном случае именно христианской.

Конечно, сейчас такой Некрасов нам чужд и любим нами, потерявшими «круговую поруку», быть не может. Менее всего я хотел бы быть понятым в том смысле, что вот-де обратимся мы к Некрасову и просветимся, и спасемся.

Но, кажется, отношение к поэзии Некрасова может быть одним из знаков того, обречем ли мы себя друг в друге, найдем ли человеческую «круговую поруку». Или мы будем расценивать себя как «единицу». И — придем в отчаяние. И — сойдем с ума. И — окончим самоубийством.

Николай СКАТОВ.